

СВИРЕЛЬ

РАССКАЗ Борис ЛЕСИК

Я ШЕЛ опушкой леса. Корзинка моя была полна грибами, и я уже не всматривался под деревья, а просто слушал, как шуршат под ногами листья, как дрожит чуткая тишина осеннего леса. Воздух был чистый, настроение на прохладе росного утра. Он пьянил и освежал. Лес жил своей жизнью. Любопытные синицы качались на березовых ветках, задорно наклоняли головы, что-то цвянькали и кидались в кусты. Хрустели под ногами бересклетовые валежины. Где-то над головой дробно стучал дятел.

— Ого-го! — крикнул я, уверенный, что сейчас же откликнется эхо. Но березовая роща вдруг ответила мне свирелью.

Я остановился. Из-за деревьев опять послышалась свирель. Легко, переливчато... Она двигалась в мою сторону.

Прислонившись к березе, я ждал. Незамысловатая мелодия нежно вливалась в тишину, плыла свободно, словно это звучала не свирель, а звенел осенний прозрачный воздух.

Прошло минуты три. Из леса вышел высокий сухопарый старик в поношенной фетровой шляпе непонятного цвета и огромном армейском зеленом плаще. Увидев меня, он перестал играть, спрятал свирель куда-то во внутренний карман и подошел ближе.

— Ну, как гриб? — спросил он мягким баритоном.

— Да вот — набрал! — отозвался я.

— Мало нынче гриба. Мало... — словно не одобряя моих находок, рассерженно сказал старик. — Правда, внучка приносит. Но разве это гриб?

Он муром глянул на меня, словно изучая, а потом с неожиданной легкостью присел на замшелый холмик: «Садись! Отдохни». Я прилег рядом, достал сигареты, предложил старику.

— Нет! — отказался он. — Я трубку курю! Сын табак хороший прислал

«Трубка мира» зовется. Медом пахнет...

Мы закурили. Дым закрутился около, заблуждал в седой бороде старика, пополз, цепляясь за травинки. Долго молчали. Потом я не выдержал.

— Отец, — попросил я, — сыграй что-нибудь. На свирели...

Старик довольно усмехнулся. Он не спеша притушил большим пальцем в трубке огонек, достал свирель. Тщательно облизал губы, заиграл что-то задорное, плясовое. Смешливо заискрились его глаза.

— Хороший человек свирель подарил, — сказал старик, окончив играть. — Учитель был в нашей деревне. Нравилось ему, как я играю. С той поры свирель берегу. Сказывали, что ее сам Чайковский слушал, Петр Ильич, композитор. А сделал свирель пастушок. Он и играл Чайковскому.

— Расскажи поподробнее, — попросил я.

— Попробую... — охотно согласился старик. — Только рассказчик из меня неважный. Да и всего не припомню.

Он снова раскурил трубку, глубоко затянулся табачным дымом.

— Сказывают, что Чайковский за рояль садился только днем. А в тот раз увлекся я ночь не заметил. Музыку сочинял. Заворожила она его. Уже стемнело, а он все играл. Свечку зажег, пиджак на плечи набросил. На рояль поиграет — запишет что-то. Бумаги вокруг наикала страсть. Так всю ночь и работал. Утро подошло — удивился, светло уже. Вышел на крыльцо.

Деревня наша убогая была, а на заре все равно красивая. Там туман молоком ползет, здесь сосны пылают на солнце. Петухи орут. Журавли колодезные поскрипывают. Над крышами дым струится. А воздух чистый, ядреный.

Поежился Петр Ильич от свежего ветерка сошел с крыльца и через луговину направился к лесу. Любил он в наш лес ходить. Идет, значит,



Рис. В. Трущенина.

он прямо по росе, ничего не замечает, а в голове словно музыка еще играет, веселая такая, легкая. Только вдруг чувствует — смолкли скрипки и всякие там рояли, тихо стало. «В чем дело?» — думает. И вдруг видит, к нему вдоль опушки мальчонка идет, пастушок. Босой, в полотняных портках, котомка через плечо, в руках прут ореховый. Рядом — коровенка худая. Поравнялся пастушок с Чайковским и остановился. А потом узнал композитора, обрадовался и спрашивает:

— Барин, не ты ли ночью в музыке играл?

Чайковский, конечно, улыбнулся, а мальчонка свое:

— Я тоже играю! На свирели! Только дома маманька не велит, ругается. Зато в лесу я вольный!

Говорит мальчонка, говорит, торопится. Словно давно он этой встречи ждал.

— А ты лес любишь? Я люблю! Он такой глухой бывает, а то вдруг звонкий-звонкий. Это в нем птицы гомонятся, играют! Заслушаешься! А еще в лесу цветов много. Разных! К ним шмели прилетают. Они такие бесполовые, с дурной!

Чайковский не может и слова вставить. А мальчонка торопится, словно боится, что добрый барин всего не выслушает. И про коровенку свою забыла — она в орешник побрела куда-то. А он все рассказывает то о травах, то о цветах. О леснике Егоре, который угощал его «пьяным» медом. О

лесном ручье, где золото червонное на дне рассыпано.

Долго парнишка говорил. Но вдруг замолчал, а когда Петр Ильич хотел что-то спросить у него, тоскливо вздохнул.

— А маманька умереть хочет. Отец ее бьет нещадно. Меня тоже за космы таскает. Но вообще-то, когда трезвый, он тихий, а вот у Пашки Черного отец завсегда боевой, дерется...

И опять смолк, а потом тихо добавил:

— А тебе легче, барин, прожить у тебя олежа новая. И чистая...

Больше ничего не сказал пастушок. Зашагал прочь. Глянул Чайковский на его маленькое тельце, на босые, в цыпках ноги, и сердцу его стало больно. Долго он стоял на одном месте. О чем-то думал. Вдруг его слуха донеслись звуки свирели. Задумчивые, горестные... И смолкли. Но Петр Ильич не свинул с места. Он ждал. И дождался. Только совсем с другой стороны леса. Пастушок играл уже весело и задорно. Композитор облегченно вздохнул, заулыбался.

Сказывают, что, вернувшись домой, Чайковский перенес мелодию свирели в свою симфонию. Запала она ему в душу. Грестная и радостная...

...Окончив рассказ, старик долго молчал. Я не решился спрашивать его — сказка это или была. А когда старик достал свирель и поднес ее к губам, я услышал Чайковского...